

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

1927

КНИГА

ДЕВЯТАЯ

СЕНТЯБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Горький, Чехов и Толстой

(По личным воспоминаниям).

С. Я. Елпатьевский

Максим Горький.

(Алексей Максимович Пешков).

Горький — человек сказки. Как-то он обзвал меня в письме старым романтиком. В ответе я написал ему, что он — Еруслан Лазаревич, Гуак-Непреоборимая верность.

У меня и сейчас нет оснований отказываться от этого определения. Он даже не романтик, а человек сказки. Мне так и рисуется юный Горький, только что прилепившийся к печатной книге, начитавшийся Бовы королевицы, и Английского милорда, и Еруслана, и Гуака. Он перемывает посуду на пароходе, месит хлеб, продает квас. Он грузчик, сторож, дворник, весовщик — нельзя перечислить всех его профессий — вечно в сказке. С расплывленным воображением, необузданным воображением он все время мечтает, думает не о будничном, а о сказочном.

И мне кажется, что вся окружающая жизнь преломлялась в нем не в своем будничном, сером облике, а в чудесном, претворенном его необузданной фантазией сказочном образе. Так он и писал. Так и изображал русскую жизнь.

Пронзительный человек, Лев Толстой, слушая рассказ Горького про его сон, задает ему вопрос:

— Вы выдумали это, или в самом деле?

Что можно ответить? Выдумывал ли Горький не сны, а то, что он писал, или это в самом деле было? — И выдумывал, и не выдумывал... Это все подлинное, наблюдаемое Горьким, но подлинная и не подлинная русская жизнь.

Многие его произведения были по существу сказками. Никто не говорит у Горького простым, обыкновенным языком, — все яркие фразы, мудрыми или мудреными изречениями, все философы или экстравагантные, необычные люди. Горький слышал эти яркие слова, накопил как никто огромное количество блестящих народных выражений, он слышал, он не выдумывал их; но он уже не принимает других простых обыкновенных слов, которыми говорят средние, обыкновенные, будничные русские люди. Как

у Достоевского, все действующие лица говорят одним однотонным, мучающим языком Достоевского, так у Горького все говорят ярким, цветистым, горьковским языком. Он не может уже изображать будни, как они есть в действительности. Когда он берется изображать самую серую, самую тусклую русскую действительность, она в своей серости и тусклости вырастает уже у него в особую сказочную, подлинную и неподлинную действительность. И пошлость, и грязь, и жестокость русской серой жизни... И она эта действительность, наполняется сказочными людьми, углубленными, философствующими о смысле жизни, о целях мироздания, кажется, обо всех сложнейших, мудренейших вопросах жизни, о которых думал и мечтал сам Горький.

Нужно ли иллюстрировать это? Говорит о его типах, передавать его изобразительную манеру? Начиная с его первых произведений, с Макара Чудры, Изергли, не говоря уже о больших его произведениях, в любом из его позднейших изображений кусочков жизни, из его коротеньких воспоминаний встают всё те же выдуманные и не выдуманные люди.

И что могло остановить, вернуть к точной действительности этого человека, когда сам он был человек-сказка, когда вся жизнь его была сказкой? Я не знаю в истории литературы аналогии с жизнью и карьерой Горького. Из низов, подлинных низов, неприютный, безпризорный мальчишка, учившийся подзатыльниками взрослых науке жизни, хватавший, как голодный галчонок, всякие кусочки знания, печатного слова, какие попадались безпризорному и неприютному мальчику, — Горький вырастает с первых же литературных шагов страшно быстро, головокружительно быстро до большого русского писателя, до огромной славы, до мировой известности.

Народ в России малограмотный, не слыхавший о Достоевском, мало знающий Пушкина и Гоголя и не знающий Лермонтова, больше других, но только кусочками знающий Толстого, знает Максима Горького. И если не писателя, то по крайней мере человека Горького. Вынесенная им из тюрьмы песня распевалась всеми шарманками рядом с «Последним денечком», поезда 4 класса и сейчас называются «Максим Горький».

Его «Буревестник» облетел всю молодую Россию. Его сочинения расходились, как ничьи. Сотни и тысячи молодежи ждут и встречают Горького на пути, когда он едет в Крым. К нему идут и молодежь, и взрослые, и рабочие, и босяки, и такие не босяки, как миллионеры — нижегородский Бутров и московский Савва Морозов. Слава скоро и давно перешагнула Россию. Его произведения переводились на многие языки, он стал какой-то сказкой за границей. Давно уже, много лет назад я встретил у него на Капри француза композитора, сочинявшего оперу на произведения Горького.

И что могло обратить Горького к Боборыкинским фотографиям, к точным снимкам русской жизни, когда эта русская жизнь сама крутилась и металась, как в вихре, когда как в сказке невозможное становилось возможным, невероятное становилось действительностью? На его глазах тысячелетие дремавшая Россия, изредка погулившая с Емельяном Пугачевым, Степаном Разиным и снова дремавшая тяжелой дремой, — эта покорная плоская равнинная Россия вдруг вздулась горбом и из членораздельных

звук ее вырвался облетевшая всю равнину крик: «Долой самодержавие!». На его глазах прошла мрачная сказка 9 января, безумная, как нелепый сон, японская война, в его ушах завывла звериным ревом мировая война... Прошла первая революция, вторая революция, пришел коммунизм, захвативший Горького. И как коммунизм, обещающий осуществить величайшие замыслы человечества, разрешить мудренейшие загадки жизни, — как мог он не пленить, не захватить Горького, этого жадного к жизни, ненасытного, вечно голодного мечтателя?

Как калика переходящий старых русских легенд, он ходил из конца в конец по русской земле, — с севера на юг, с юга на север, из Одессы на Кавказ, с Кавказа по Волге в свой Нижний-Новгород. Ходил и учился. Получал среднее образование, проходил свой собственный университет. Но главное было не то. Он пытал Россию. Он хотел разгадать древние странные русские загадки: «Пойти туда, не знаю куда; найти то, не знаю что».

Потому ему и не сиделось на месте, потому он вечно перекидывался из места в место, из города в город. Придет и пытается людей. Он умеет пытать людей, выпытывать из них самое сокровенное, что таится на дне человеческой души. И дальше шел к другим людям. Так он ходил-бродяжил долгую жизнь, — ходил к разным людям, населяющим русскую землю, и к рабочим, и к босякам, и к мещанам маленьких мещанских городков, и к таким же, как он, бродягам, интеллигентным каликам переходящим, никогда не переводившимся на Руси.

Так же подходил он к людям высоких калибров — и к Короленко, и к Толстому, и к Чехову, и к Леониду Андрееву, которого никто не выпытал так, как Горький. У него были разнообразие знакомства — он привержен был и к Васье Буслаеву, и к Ричарду Львиное сердце.

Помню Горького ялтинского, петербургского, каприйского. Он был неуклюжий, с длинными руками. Спина у него немножко горбом, как у грузчиков, что долго таскали десятипудовые мешки, и когда ходил, сутулился, — мне все казалось, что походная сума еще не слезла с его плеч. Сидеть он не умеет, у него нет определенной манеры сидеть, как у людей привыкших сидеть, кажется, он только присел и вот-вот снимется. Лицо серое, сумрачное и только глаза голубые, прозрачные, цветочные глаза ярко встают на пасмурном лице. Когда улыбается, лицо становится моложе и ласковее и немножко хитренькое. Слова из него выходят медлительные, тяжелые, словно из-под пресса, давно залежавшиеся, с трудом вырывающиеся. У него совсем нет «легкой речи, у него нет гостинских разговоров — того, что называется по-французски «causerie» и что по-русски надо перевести словом «калякать». Слова у него гневные, ругательные или восторженные и умиленные. Он ругательски ругает Россию за то, что она неопрятная, не так сказочно прекрасна, как он желал бы, и хочет себя убедить, что презирает ее. Ругается, когда не находит в ней Васью Буслаева и Ричарда Львиное сердце и когда находит их или «выдумывает», — думает, что нашел, восхищается и умиляется. Когда встретит новый талант и даже кусочек таланта, восхищается и обнимает нового человека своей грубоватой, но горячей

лаской. Когда волнуется радостно, глаза становятся влажными. Он плачет, когда смотрит там высоко на Капри в качачке пляску — великолепноу тарантеллу, эту удивительную итальянскую сказку.

Он не политик. Политика не уживается с сказкой.

Антон Павлович Чехов.

Чехов был сидячий человек. Он редко ходил в гости; кажется, не очень любил гулять, — я не помню, чтобы он ходил пешком за пределы Ялты.

И когда выходил из своего дальнего Аутского угла к морю, садился на Набережную и книжного магазина Синани, с которым приятельствовал, и подолгу сидел, наблюдая причесанными глазами, как волны катятся по морю, слушая, как лениво бьются они о каменную набережную, любуясь, как белые чайки взлетают и падают в море.

Подходили дамы, поклонницы Антона Павловича, мимо шли туземные люди. В Ялте Чехов был у себя дома. Он давно и близко знал этих туземных людей, караимов, армян, греков и так сказать международных людей, помеси разных национальностей, которых так много на юге России и в Крыму, — и в его родном Таганроге, и в Ялте. И, кажется, ему нравились эти красочные южные люди, и у него были знакомства среди них. Раз он затащил меня к такому же караиму, как Синани, на чебуреки: — «классические», — говорил он, — каких вы нигде больше не попробуете». И был оживлен и весел за действительно классическими чебуреками, среди караимов, почтительно и приязненно относившихся к Чехову. Раз я встретил у него священника греческой аутской церкви, пришедшего к нему с несколькими прихожанами посоветоваться насчет общинных дел, и я знаю, что Чехов в чем-то помог им.

А потом он шел в свой уютный домик, в задумчивый кабинет, откуда смутно вдаль виднелся кусочек моря, садился за письменный стол, против которого Левитан написал на камине ласковую русскую даль с смутными стогами сена, пробегал газеты, которых получал много, прочитывал письма, которых получал множество. И... если не писал, мечтал о Москве

Его любовь к Москве была удивительная. В своих воспоминаниях о Чехове¹⁾ я писал, что три сестры, все твердившие: «В Москву, в Москву!», были все он же, Чехов, непрестанно мечтавший о Москве, находивший ее самым приятным местом в мире. Этот южанин, таганрогский человек, нашел другую родину — Москву. Там все ему нравилось — и улицы, и кривые переулочки, и колокольный звон Кремля и разных Никол, и нравы, и быт, и люди. И нравилась не только Москва, но и все Подмосковье.

У меня было наоборот; я, владимирский человек, влюбился в Крым, и мне было странно, немножко смешно и трогательно слушать, как он рассказывал о московских прелестьях. Помню, Чехов, чтобы сокрушить меня, как-то возвратившись после лета, проведенного под Москвой на Клязьме, где он ловил пискарей и окуней, с торжеством объявил мне, что он приваивал за лето на восемь фунтов, в то время, как в Ялте же терял вес.

¹⁾ См. мои «Баязкет тени» — литературные воспоминания.

Я понимал это, — не все хорошо переносят ялтинскую летнюю жару, но когда Чехов начинал серьезно убеждать меня, что октябрьско-ноябрьский или мартовский московский воздух полезнее для его туберкулезных легких, чем ялтинский, — я недоуменно слушал его и чувствовал, что мои разговоры не ездят в это время в Москву бьются в него как в стену.

И, может быть, поэтому в Ялте Чехов часто бывал сумрачным и грустным, не такой, каким я его видел в Москве. Он оживлялся, когда приезжали в Ялту писатели, был более обычного оживлен, когда в Гаспре жил Толстой, а в Олеше Горький, но по-настоящему веселым я видел его во время приезда Художественного театра в Ялту с чеховскими пьесами. Я помню обед у Чехова, где были артисты Художественного театра и Горький, и никогда не видал Чехова таким веселым и радостным, как во время этого обеда.

* * *

В Чехове не было горьковской дерзости, горьковского озорства. Красивый, изящный, он был тихий, немного застенчивый, с негромким смешком, с медлительными движениями, с мягким, терпимым и немножко скептическим, насмешливым отношением к жизни и людям.

И дом свой устроил по своему вкусу, уютный, с маленькими комнатами. Мы начали строиться почти одновременно. Он дразнил меня, называя мой дом высоко на горе над Ялтой, откуда открывался великолепный, единственный вид в Ялте на море и на горы — «Вологодской губернией», а я называл его место — «дыра». Мне не нравилось выбранное место в дальней части неприятно содержащейся Аутки, в ложбине у пыльного шоссе, но у Чехова было уютнее и интимнее, в особенности, когда рассадил он свой прекрасный садик и пустынное место стало обжитым, забегали по садик у две ласковые собачки и торжественно зашагала по двору цапля.

К политике Чехов относился равнодушно, пренебрежительно, даже можно сказать немножко безразлично. Он не любил заостренных политических споров, редко бывал в домах, где мог встретить их, услышать интеллигентские споры о политике. Мы были с самого начала в добрых отношениях. Он сердечно подошел к нашей работе по устройству в Ялте безденежной туберкулезной пубрики, собирал пожертвования¹⁾, часто обращался ко мне с просьбой устроить нуждающихся больных, которых присылали к нему московские знакомые, но наши отношения долго не делались интимными — мешала политика. Антон Павлович был более чем равнодушен к тому, что волновало меня, и был слишком мягок и терпим к людям, которые были непереносны для меня, и на этой почве у нас возникала иногда временная отчужденность. К нему приезжали разные люди, пестрая публика.

Помню один неприятный случай. Как-то раз я встретил у него Меньшикова, нововременского, уже высказавшегося до конца Меньшикова. Че-

¹⁾ Чехов не практиковал, хотя всегда интересовался медициной, но какой-то московский купец, несмотря на все отговорки Чехова, пожелала непременно получить от него совет и за ялты 50 р. Чехов передал нам этот гонорар, долго очень гордился этим и с торжеством спрашивала меня: — «Ну, вы, ялтинские врачи, получаете 50 р. за визит?».

хов познакомил нас. Оставаться в обществе Меньшикова мне было неприятно, я прождал несколько минут и, отговорившись какими-то делами, ушел, не простившись с Меньшиковым. На другой день Чехов упрекал меня в нетерпимости, в том, что я обидел Меньшикова. В другой раз по поводу беспорядка в Петербургском университете, в которых деятельное участие принимал мой сын, Чехов стал говорить, что эти бунтующие студенты завтра станут прокурорами по политическим делам, а когда я заметил, что в массе эти студенты несомненно будут больше подсудимыми, чем прокурорами, он пренебрежительно махнул рукой и не продолжал разговора.

Это не значит, что Чехов был ближе к прокурорам, чем к подсудимым, не значит, что он не интересовался общественными делами, что равнодушно проходил мимо того, что совершалось кругом. Он был горячо предан общественной медицине, земскому школьному делу, известно, как много делал он в своем Мелихове, я знаю, как участливо относился он к нахлынувшему бедствию голода. На Сахалин он ездил не как турист ради развлечения. И в Ялте он много и многим помогал, чем мог. Он был чуткий к чужим нуждам, добрый активной добротой и враг лжи, сытого самодовольства, враг обмана и насилия, но, человек левитановских пейзажей, настроения бунтующей музыки Чайковского, Чехов не любил громких криков, трубных звуков. Ему чудно было все острое, повелительно, непреклонно требовательное, — ему несроден был бунт.

И вот пришло время, не стало пренежного Чехова... И случилось это как-то вдруг, неожиданно для меня. Поднявшаяся бурная русская волна подняла и понесла с собой и Чехова. Он, отвергивавшийся от политики, весь ушел в политику, по-другому и не то стал читать в газетах, как и что читал раньше. Пессимистически и во всяком случае скептически настроенный Чехов стал верующим. Верующим не в то, что будет хорошая жизнь через двести лет, как говорили персонажи его произведений, а что эта хорошая жизнь для России придвинется вплотную, что вот-вот сейчас перестроится вся Россия по-новому, светлому, радостному...

И весь он другой стал — оживленный, возбужденный, другие жесты явились у него, новая интонация послышалась в голосе.

Помню, когда я вернулся из Петербурга в период оживления Петербурга перед революцией 1905 г., он в тот же день звонил нетерпеливо по телефону, чтобы я как можно поскорее, немедленно, сейчас же приехал к нему, что у него важнейшее, безотлагательное дело ко мне. Оказалось, что это важнейшее безотлагательное дело заключалось в том, что он волновался, что ему безотлагательно, сейчас же нужно было знать, что делается в Москве и Петербурге, и не в литературных кругах, о которых раньше он исключительно расспрашивал меня, а в политическом мире, в надвигавшемся революционном движении... И когда мне, не чрезмерно обольщавшемуся всем, что происходило тогда, приходилось вносить некоторый скептицизм, он волновался и нападал на меня с резкими не сомневающимися, не чеховскими репликами.

— Как вы можете говорить так! — кипятился он. — Разве вы не видите, что все сдвинулось сверху донизу! И общество, и рабочие!..

И как-то все перевернулось в нем. О том же Меньшикове он говорил мне:

— Читали вы, что написал этот мерзавец Меньшиков?

Я ответил, что Меньшиков был и есть Меньшиков и что у меня не всегда бывает охота и терпение читать его. А он все волновался и повторял: — Нет, вы прочитайте, что он в последнем номере пишет.

Стал рассказывать мне о «Новом времени», с которым был связан и о котором раньше редко упоминал. О самом старике Суворине он редко говорил, и когда говорил, косвенно защищал его. Помню, он мне рассказывал, что возмутительная статья в «Новом времени» по поводу 1 марта, требовавшая чуть ли не четвертования «злодеев», была помещена в газете без ведома Суворина, написана Иловойским, но относительно «Нового времени» он не жалел красок. Рассказывал, какие там дурные люди ведут дело, как там фабрикуется заведомая ложь, как подкупаются сотрудники, как во время Дрейфусовского дела переделывались и подделывались телеграммы, получавшиеся из Парижа от их собственного корреспондента, как вставлялись «не» в телеграммы, выбрасывалось нежелательное, ставились вопросительные и восклицательные знаки — появлялась в газете совсем другая телеграмма с противоположным смыслом.

Здоровье Чехова становилось — в значительной мере, думаю, из-за поездок в Москву — все хуже и хуже, и мне было трогательно и волнующе наблюдать эту просыпающуюся в Чехове веру в близкую новую жизнь, поднимавшееся в нем новое настроение.

Мы вели частые и долгие споры о литературе, но о произведениях друг друга говорили редко и как-то стыдливо. Только раз, — помню, шли мы куда-то, — глядя в сторону, Чехов неожиданно сказал мне:

— Прочитал ваш рассказ («О, мама!»). У вас там как на виолончели играют.

Тем более поразило меня, когда Чехов, всегда сдержанный в разговорах о своей литературной работе, неожиданно протянул мне рукопись:

— Вот, только что кончил... Мне хотелось бы, чтобы вы прочитали.

Я прочитал. Это была «Невеста», где зазвучали новые для Чехова, не хмурые ноты. Для меня стало очевидно, что происходил перелом во всем настроении Чехова, в его художественном восприятии жизни, что начинается новый период его художественного творчества.

Он не успел развернуться, этот период. Чехов скоро умер.

Лев Николаевич Толстой.

В 1903 году Лев Николаевич Толстой приехал в Гаспру в имение С. В. Паниной отдыхать и лечиться от тульской малярии и длительных непорядков в кишечнике.

Меня чрезвычайно интересовал Толстой, но я не собирался ехать к нему. На поклонение, как к вероучителю, я не мог идти, а ехать для зна-

комства было неловко, — слишком много к нему ходило людей, чтобы только посмотреть Толстого, — но вскоре по приезде Толстой сказал кому-то из общих знакомых ялтинцев: «Нужно дать доктору Елпатьевскому тысячу рублей на туберкулезных больных». Это облегчило мне посещение Толстого, и вместе с доктором Алтшулером, начавшим лечить дочь Льва Николаевича Марию Львовну, я отправился в Гаспру.

Я увидел Толстого не таким, каким ожидал встретить его. Начиная с наружности. Я, конечно, много видел портретов Толстого, но такого мужицкого крестьянского облика я не ожидал встретить. Были в старые времена такие старосты, бурмистры из крепостных времен. И очевидно, не мне одному бросался в глаза этот крестьянский облик. Чехов, которому я сообщил свое впечатление, согласился, но сделал поправку — Толстой больше похож на десятника лесника, что меряет в лесу поленицы нарубленных дров.

А потом я ожидал встретить Толстого человеком, порвавшим с прошлым, отвернувшимся от того, чем он жил раньше, и прежде всего от главного содержания его жизни — художественного творчества. Человеком, замиренным, надевшим шкуру на свои страсти, на свои буйные порывы, пришедшего к тому, что поется в великопостной молитве: «целомудрия, смирноумудрия, терпения, любве даруй мне, рабу твоему».

Он был не замиренный, не покоривший себя, не ушедший от себя. Мы попали как раз на приступ тульской малярии — температура была выше 38°, нам пришлось тут же раздеть его, выстукать и выслушать, — и только что мы покончили с врачебными наставлениями, как Толстой возбужденно стал нам рассказывать нелепую историю о каком-то чуде в Новочеркасске, в которое поверил или сделал вид, что поверил, Победоносцев. Толстой разыскал письмо, присланное ему из Петербурга, и, зло издеваясь над Победоносцевым, перечитывал нам отдельные, наиболее пикантные места. А после этого вцепился в меня, — очевидно, он знал мою политическую физиономию и, обращаясь именно ко мне, начал нападать на социализм. Помню одну из его аргументаций. И природа, и условия сельского хозяйства устанавливают необходимость работать летом от восхода до захода солнца, а социалисты лезут со своим восьмичасовым рабочим днем.

Он был то, что называется «задира». И в следующее мое посещение, когда я был один, сразу завел разговор о мышьяке — мы настаивали, чтобы он лечился инъекциями мышьяка.

— Что делает мышьяк в организме? — И после моей короткой реплики с некоторым разочарованием, что я не вступил в спор, добавил: — А я думаю, что вы скажете... Мышьяк ведь в организме соединяется...

И даже когда был тяжело болен¹⁾, не упустил случая подразнить нас, докторов, и посмеяться над нами, когда мы преждевременно радовались его выздоровлению.

¹⁾ Мне пришлось долго лечить Толстого. У него было гриппозное так называемое бродячее воспаление легких, обобщенное три доли, с температурой около 40° и с кризами, когда сердце изнемогало и пульса нельзя было сосчитать. Некоторое время нам

И чем дальше знакомился я с Толстым, тем более открывал в нем прежнего исконного Толстого, каким он был до его религиозного перелома. Он не выгнал из себя, не потушил в себе жадного художника, и я знал, что в Гаспре и даже в промежутках тяжкого заболевания, от него не уходили художественные замыслы. Я помню, с какой жадностью он расспрашивал меня, что я помню из когда-то прочитанной книжки о Хаджи-Мурате, и как с видимым захватом рассказывал мне о нем.

И все было толстовское... Однажды он рассказал мне, как молодым офицером ехал на Кавказ и, встретившись на какой-то почтовой станции с другими офицерами, проиграл все, что было у него. Проиграл деньги, проиграл экипаж, в котором ехал, и собирался поставить на карту все свое имение и поставил бы, если бы не вмешался старый майор, насильно уведший Толстого от карточного стола и сурово отчитавший его¹⁾. А довольно скоро после этого рассказа мне пришлось играть с Львом Николаевичем в винт, и я не встречал в жизни такого страстного игрока. Наблюдая за ним во время этой игры, я понял, что он из тех страстных игроков, которые способны ставить на карту все, которые, как Достоевский, способны были проиграть костюм, юбку своей жены.

Я долго стоял в недоумении перед Толстым, перед этим необычным человеком. Он был необычен и не укладывался в меру даже крупных значительных людей. Все было в нем большое, сверхурочное.

Он много ел. Доктор Флеров, вызванный в Ясную Поляну лечить Толстого, рассказывал мне, что Толстой заболел от того, что три последние масленичные дня он с'едал по столько блинов, сколько хватало бы на двух здоровых людей. Его кости и мускулы требовали большого движения — Толстой не мог не двигаться, не давать большой работы своим костям и мускулам. И в Ясной Поляне и Гаспре он должен был ежедневно исходить или из'ездить много верст. В Гаспре он заболел воспалением легких после того, как в пасмурный дождливый день проделал длинную прогулку верхом, — он не любил обычных дорог и ездил по узким тропинкам между татарскими садами, где ему приходилось переходить самому и переводить лошадей через изгородь.

Когда он ходил купаться в своей Яснополянской речке, он семидесятилетним стариком перед купаньем предварительно проделывал гимнастические упражнения, какие причисляют молодым людям. Он сам мне упомянул, как бурно проходила его молодость в половом отношении.

И совершенно невероятны были размеры его духовной жизни. Велика была совесть его, велик был разум его, велики были не только объем его мысли, но и непрерывность, напряженность мысли.

приходилось лечить вдвоем с доктором Альтшулером и только к последнему приступу приехали доктора Щуровский из Москвы, Бертенсон из Петербурга и возвратились из отлучка коренский врач Волков. Эта болезнь сблизила меня с Толстым. Более подробное воспоминание о Толстом и его болезни начатано в моих «Литературных воспоминаниях».

¹⁾ Известно, что Л. Н. проиграл в карты свой родительский дом в Ясной Поляне, который увез к себе в другой уезд выигравший его помещик. Софья Андреевна рассказала мне об этом.

Даже когда смерть пристально вглядывалась в него. Помню один случай: он только что перенес тяжкий приступ воспаления легкого, пульс был еле уловим, мне казалось, что он лежит без сознания. И вдруг он открывает глаза, требует карандаш и бумагу, а когда карандаш выпал из дрожащих слабых рук, он зовет Марью Львовну и еле слышным голосом просит принести ему какую-то тетрадь из его рукописей, и я наблюдал, как диктовал он ей поправки к тому, что было там написано.

В Толстом было огромное индивидуальное «я». Когда жил у меня в Нижнем-Новгороде Глеб Иванович Успенский, кто-то при мне спросил его: что он думает о Толстом? о его проповеди? — и Успенский ответил, как всегда неожиданной, репликой:

— Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя¹⁾.

Да, вокруг себя, но никогда не успокаивающегося, вечно волновавшегося всеми волнениями жизни себя.

Предо мной долго стоял вопрос, как мог этот огромный человек с вечно голодным умом, с его страстным темпераментом, — по существу борец и воин, а не столтник, не отшельник, — как он мог прийти к тому, к чему и пришел, как он мог успокоиться или вернее стремиться успокоиться на той маленькой философии жизни, которую он выработал, которую проповедовал?

Мне кажется, что привели Толстого к его решению жизненной задачи именно огромность его индивидуального «я», бунт его сердца, бунт его разума.

Вечно тревожная, вечно волнующаяся мысль... Она была особенная, толстовская. Толстой не был тем философом, что в кабинете со спущенными штрами обдумывает проблему жизни, не деляя из нее выводов для своей жизни и мало заботясь о том, какие выводы сделают из его проблемы другие люди. Толстовское окно было настезью раскрыто, и все думанное и додуманное билось в сердце его и повелительно звало его к деланию, к пропаганде нового, к претворению своей думы в жизнь.

Это была тяжелая, доходившая до муки внутренняя работа духа Толстого. Отрекаясь от прошлого, снимая с себя ветхого человека, ему приходилось ломать всю свою жизнь, отрекаться не только от привычной и удобной жизни, не только от самого дорогого ему художественного творчества, — приходилось рвать больно до крови свою семейную жизнь. Толстому стало тяжело его огромное «я». Ему, многосложному, захотелось упроститься, ему вечно волнуемому хотелось успокоиться, его страстно потянуло раствориться в массу, стать «мы». Тем мудрым, ясным — так думал он — народным «мы», где нет противоречий, где вековая простая правда, где все согласованно, все замкнуто.

И можно понять, почему этот жизнежадный человек говорил: «не кури», «не живи половой жизнью», «не тянись к красоте», «не поднимайся до художественного творчества»; почему человек, у которого в душе было

¹⁾ Перефраз заглавия известной повести Жюль-Верна: «Восемьдесят тысяч льв вокруг света».

столько бури и противления, говорил: не противься злу насилем, почему этот многогранный, многозвучный человек звал людей к тихой, бесшумной, одностонной жизни... Как Достоевский говорил: смирился, гордый человек! — так Толстой проповедовал: сожмись, упростишься и опростишься, многогранный сложенный человек, — не живи, как я, Толстой, жил.

Не странно ли, что в огромных художественных полотнах Толстого оказалось мало места для представителей крупного индивидуального «я», для действительных волевых борющихся людей, что огромная фигура Наполеона вышла бледной, серой фигурой, что страстный борец по натуре Толстой облюбовал своим художественным любованием тихого, яркого своей неяркостью капитана Тушина, Каратаева, «круглого» Каратаева, у которого так много было «смиренномудрия, терпения, любви» и который был так противоположен Толстому?

Крутом него русская жизнь была полна бунта, исканий, там были волнующиеся умы, ищущие правды люди, волевые сердца, — не странно ли, что Толстой, не мог не знать и не наблюдать этих людей — нигде, если не считать зарисованных бледных силуэтов ссылаемых политических людей в «Воскресении», нигде не остановился на революционерах его времени и даже просто на тихих русской интеллигенции. Не будет парадоксом сказать, что может быть именно потому они не нашли места в его художественном восприятии, что в них была доля толстовского «я», что они так же были люди волнующейся мысли и страстного сердца, — было то, от чего уже тогда, в 70-х годах, уходил Толстой, что он осудил.

Труднее всего уходить от самого себя, и, уходя последним уходом, Толстой уходил, мне думается, не только от Ясной Поляны, от того, что стало там уже непереносным для него, но и от самого себя, своего «я», от тоски сердца и тревоги разума, в замирненное, безбрежное крестьянско-христианское «мы».

И все-таки Толстой, по крайней мере тогдашний гаспринский Толстой, не ушел от себя. Я провожал его, когда он уезжал из Ялты. Рубка парохода была полна народом. Толстой увел меня на корму парохода, мы сидели вдвоем на сложенных канатах и любовались красивой Ялтой. Толстой спросил меня:

— Сколько вам лет?

И когда я ответил, что мне 48 лет, он посмотрел на меня завистливыми, я бы сказал злыми глазами и, отвернувшись от красивой Ялты, глухо выговорил:

— Самое лучшее время моих писаний! «Анну Каренину» писал...

Тут же на пароходе он взял с меня слово навестить его в Ясную Поляну. В ту же осень я приехал к нему, и первое, чем он меня встретил — заставил меня присесть и сам присел почти до полу и ловко вскочил, лучше меня, видимо наслаждаясь, что его мускулы и кости эластичны, как раньше.

В этот раз он был весел и очень оживлен и тотчас же после ужина предложил мне прочитать два рассказа, только что им написанные. Тут вышла сцена, которую мне неприятно вспоминать. Лев Николаевич, прочи-

тал мне «Восстановление ада». Напечатанный рассказ значительно разнится от того, что Толстой тогда читал мне, очевидно, он после работал над ним. Мне не понравился рассказ, и осторожно, со всей деликатностью, но и с полной искренностью, я высказал свое мнение. Быстро открылась дверь. Вошла Софья Андреевна, очевидно, слышавшая за дверью, что я высказывал, и начала сердито говорить:

— А я что говорила ему?.. — Слова сыпались не деликатные, бесперомонные, даже вульгарные, которых я не хочу повторять. Было упоминание, что скажет Европа. Я готов был провалиться сквозь землю.

Лев Николаевич был сконфужен и не стал читать второй рассказ.

У меня осталось от этой сцены неприятное воспоминание о Софье Андреевне, но я не могу здесь не коснуться той недостойной, нередко принимавшей возмутительные формы травли, которая поднялась в печати против Софьи Андреевны.

Люди помнят Софью Андреевну в период ее разлада с мужем, и не помнят ее, прожившую долгую согласную жизнь с Львом Николаевичем, отдавшую ему свою жизнь, принимавшую деятельнейшее участие в его литературной работе, — и не только тем, что переписывала, как сама она мне рассказывала, пять раз «Войну и мир». Я помню ее в Гаспире, во время болезни Льва Николаевича. Вся тяжесть болезни легла, главным образом, на нее.

Французскую пословицу: «все понять — все простить» можно принять и не принимать, но первая половина формулы обязательна для всякого, кто берется судить. И не так трудно понять. До религиозного духовного перелома Льва Николаевича, семья жила обычной жизнью круга, к которому принадлежала, дети учились, дети воспитывались, как воспитывались дети их круга. Ко времени духовного перелома сыновья были взрослые, дочери — невесты, которым по тогдашнему полагалось «выезжать». И вот в это время муж-отец решает, отдать Ясную Поляну крестьянам и перейти отказаться от собственности, отдать Ясную Поляну крестьянам и перейти на трудовую крестьянскую жизнь, к которой были не подготовлены дети, на которой не думала семья... Можно сожалеть, что Софья Андреевна не пошла и в этом рука об руку с мужем; но можно ли винить Софью Андреевну за то, что она, жившая всю жизнь тем, в чем воспитывалась, в чем выросла, не разделявшая ни религиозных, ни социальных исканий мужа, не пошла с ним и стала на защиту семьи, детей? Много писали об особенностях ее характера, об ее психической неуравновешенности, но не было ли все это до известной степени результатом той муки, которую, несомненно, приходилось переживать ей долгие годы между привязанностью к мужу и борьбой за детей, за участь своей семьи?